

Татяна БЕК УЗОР ИЗ ТРЕЩИН

Татяна БЕК

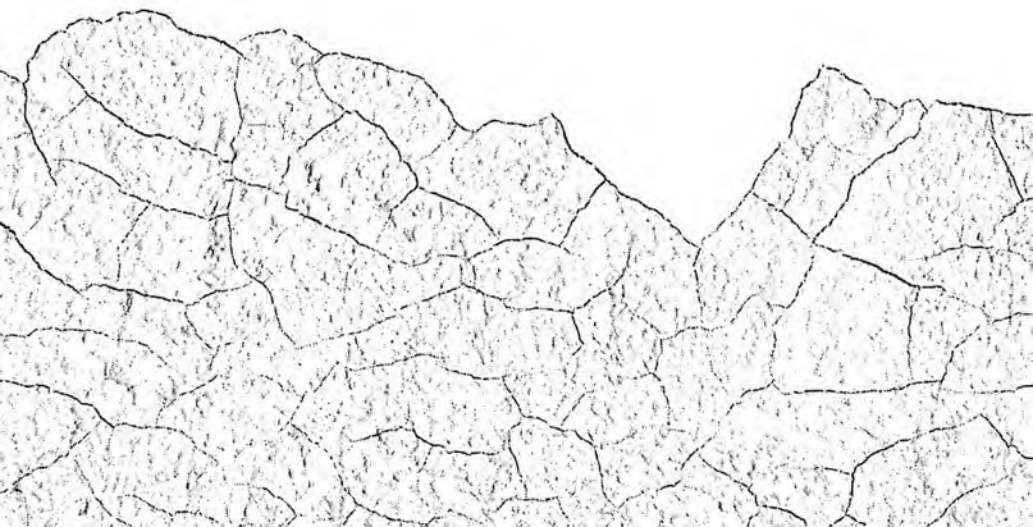
# Узор из трещин

Стихи недавних лет

Татьяна БЕК

# Узор из трещин

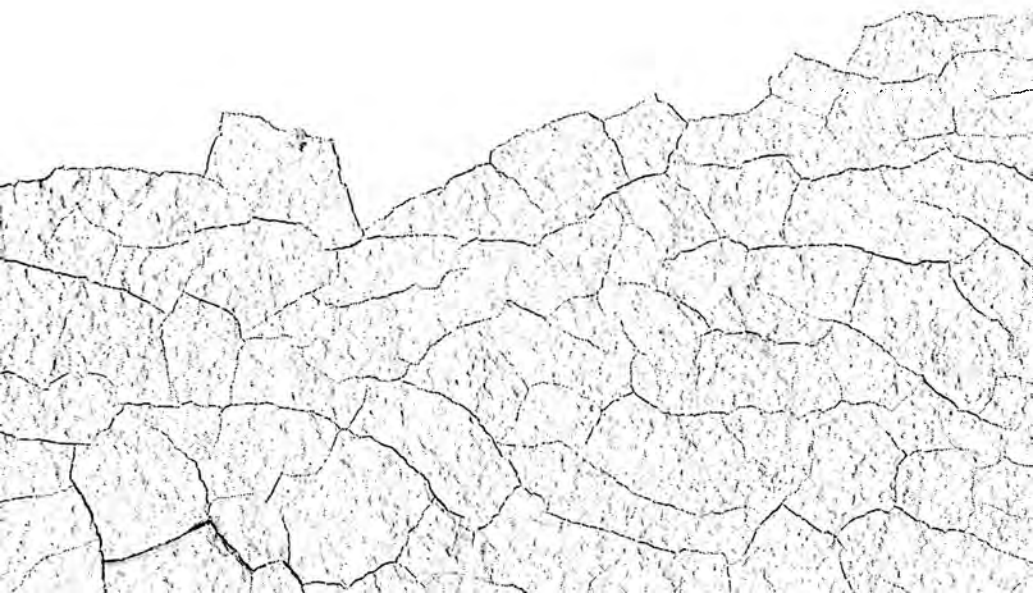
Стихи недавних лет



Татъяна БЕК

# Узор из трещин

Стихи недавних лет



УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)5  
Б 42

**Бек Т. А.**

Б 42 Узор из трещин: Стихи. Предисловие Евгения Рейна.  
Послесловие автора. – М.: ИК Аналитика, 2002. – 112 с.  
ISBN 5-93855-012-2

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)5

«Итак, кривой автопортрет на фоне кривой яви написан – и если оказывается, что выражает он нечто более универсальное, чем твое частное «я» и твой отдельный хаос, – это и есть награда, это и есть преодоление одиночества и чужести, это и есть твое творческое не зря...»

В новую книгу Татьяны Бек «Узор из трещин» вошли стихи и лирическая проза последних лет.

ISBN 5-93855-012-2

© Татьяна Бек, 2002  
© Людмила Бек, оформление, 2002

## Простота и загадка

О стихах Татьяны Бек

Перебирая страницы этой книги, уже оказавшись в плену ее обаяния, все время задаешься вопросом – откуда она пришла, явилась, поэзия Татьяны Бек? Стихи простые и загадочные, убедительные и убежденные в своей правоте, настойчивые и вместе с тем стремящиеся что-то доказать самим себе.

Трудно понять происхождение этой поэзии, очень самостоятельной, оригинальной, идущей прежде всего от жизни, от судьбы и личности ее автора и лишь в последней степени – от литературы.

С первых же строк – постоянный спор с собой, пререканье, неразбериха. Думаю, что главная удача ранних стихов Татьяны Бек была в том, что они и органично происходят из реального, трудного, подлинного авторского характера, и точно обрисовывают его. В них нет юношеского фантазерства – здесь проступает живой человек. Он захвачен врасплох, он не успел выдумать своей роли, затеять игру, набросить на себя заемное покрывало. Его нескладность затруднительна в этом мире, но он не собирается стесывать себя в угоду общепринятому. Это шероховатый характер, но – упаси Господи – не слабый.

Сказано, что поэзия – чувство собственной правоты. Так оно и в этом случае.

В стихах Татьяны Бек не обнаружишь пустой витиеватости, выпренности, котурнов. Они – производное реальности, но отношения поэта с реальностью единственны, неповторимы, мучительно проникновенны. И это во всем. Происхождение. Предки. Отец. Тропы любви. Люди, окружившие поэта. Расположение, отвращение и к миру, и к себе. И, пожалуй, только неяркая природа, чаще всего пригородная, всегда мила и приязненна. В ней неизменно – благо и утешение.

И тогда появляются скромнейшие, но такие важные строки:



*Смерть огромней, чем жизнь,  
но реальной, чем символ.  
Это знание лежит у судьбы в подоплеке...  
Бог пришел и баюкает: деточка, спи, мол,  
А проспишься – иди и расти по дороге.*

Как это написано? Просто и загадочно. Точно... точные слова, точные приметы, точные и яркие краски, точные рифмы.

Может быть, это примитивно? Нисколько. Потому что стихи Татьяны Бек произрастают из глубокого внутреннего слоя и стремятся куда-то вверх и вдаль, где решаются главные вопросы бытия: что есть гармония, что есть тайна, что есть счастье человека?

Поэзия Т. Бек как дерево: ствол изнутри обрастает кольцами, ветви – листвой. Постепенно в ней появились дальние страны, она наполнилась и даже переполнилась людьми, событиями, чувствами. Но здесь нет и в малой степени перечислительности, преискуранта, набора случаев. Даже география книги – это страны души, а не стороны света.

И в каждом, буквально в каждом стихотворении – одна сверхзадача: прорваться сквозь живую жизнь, сквозь быт и увидеть высокую сферу, которая держит человеческое существование...

Стихи последнего десятилетия явственно отличаются от предшествующих. Крона дерева мощно зашелестела (неслучайно параллельно стихам Т. Бек стала писать вдохновенную мемуарно-лирическую прозу – расширение окоема). От былой оголенности, краткости, сжатости поэт перешел к речи, порой захлебывающейся, где слова от строфы и до строфы кипят, как водопады на порогах. В начале 90-х Т. Бек это себе предсказала:

*Все пульсирует, изнемогая  
От желания заново быть.*

При этом «шероховатости речи – лучшее, чем я владела», почти исчезают в новых стихах Татьяны Бек. Они и другие, и те же, а ведь это и есть д о р о г а. Еще Блок говорил, что чувство пути – самое драгоценное, что может быть у поэта.

В нынешних стихах Татьяны Бек появляется нечто принципиально иное и даже неожиданное в ее поэтике: это некие темноты, как бы размытость смысла, возможность разноречивого понимания и толкования стиха. Вещь в современной поэзии известная. Но и она здесь совершенно своеобразна и незаемна. В этих стихах темнота – продолжение

переполнившегося смысла, многодетального наплыва реальности. Слишком многое сразу хочет сказать поэт, потому что-то он пропускает, а что-то умножает. Одно надо додумать, другому позволить размножиться и настоять на своем.

Стихи не изменили себе на протяжении жизни – просто сегодня они вырвались из узкого русла и вместе с поэтом вместили в себя всю ширь окоема, всю высь поднебесья, всю глубину существования.

Закрывая эту удивительную книгу, задумываешься о многом, становишься и богаче, и пронительнее, и лучше. И понимаешь, что поэт провел тебя сквозь чашу бытия, он сам понял и тебя научил, как –

*Не отрекаясь от «презренной прозы»,  
В нее вдохнуть мерцание светил.*

Евгений Рейн





\* \* \*

Кто там – Кашей или добрый колдун?  
Красное солнце над черными елями.  
На голове моей, видишь, колтун:  
Я не расчесывалась неделями.

Солнце нежданное – выкормыш тьмы.  
Ретироваться и прятаться некуда.  
Жду откровения, чуда, чумы,  
Напоминая невесту и рекрута.

Треснули от напряженья очки.  
Стая взлетела – воронья и галочья.  
(О, неужели – опять в новички  
И в персонажи из Федор Михалыча?)

Да. Не получится выжить в норе –  
Только в миру, обязательно в мороке,  
Где вместо точек – сплошные тире  
(«Авторский список», как скажут текстологи).

Если *кипит*, то *бежит* молоко...  
Видишь: кипела – бежала – не выросла.  
(Не уходи и теперь далеко,  
Детская жажда загадок и вымысла).

Кто там – вещун или злой чаровник?  
Пряди расчесаны. Кофта парадная.  
...Снова берется писать черновик  
Жизнь окаянная,  
жизнь ненаглядная.



Наведя порядок,  
мы долго еще плутали,—  
Имена чужие и числа  
распутывая как нити...  
— О, мои снегири и люди,  
летите в любые дали,  
Но пока живите, но только повремените.

3

Морок кончился, ура:  
Гимн сыграем на баяне,  
Даже если жизнь — дыра,  
И мура, и куча дряни.

Будем в «классики» играть,  
Будем в «ножички» сражаться,  
И на солнце загорать,  
И в озерах отражаться,

И ходить, чеканя шаг,  
В неотглаженной одежде...  
— Ненавижу! Сам дурак, —  
Я чуть что кричала прежде.

А теперь скажу: — Прости.  
Дура — я. Отныне будем  
Петь,  
и гибнуть,  
и расти,  
Свет не застя добрым людям.

\* \* \*

*Так, благодать и милость (Твоя) да  
сопровождают меня во все дни жизни моей,  
и я пребуду в доме Господнем многие дни.*

*Псалом 22.*

Эй вы, мои други-вороги,  
всё жрете, хитрите, пляшете?  
Ну, нетушки: злomu соборищу  
даю от ворот поворот.  
Господь меня успокоит  
на злачной, зеленой пажити  
И за руку к тихим водам,  
как Пастырь (бочком), сведет.

Да. Он мою душу морит,  
чтоб стала блаженно-крепкою,  
Он правдою озаряет,  
как лампою, путь земной...  
Пускай дорога к вершине  
репьем заросла с сурепкою,  
Я их не боюсь, поскольку  
Твой посох теперь – со мной.

Я – грешная, я – пропащая,  
я мечена злыми шашнями,  
Но даже мою макушку  
Его умастил елей.  
Мне с Ним хорошо – как в детстве,  
пока мы в ладу с домашними...  
О, жить бы в Господнем доме –  
чем далее, тем светлей!



\* \* \*

*Ибо знает Господь путь праведных,  
а путь нечестивых погибнет.*

*Псалом 1*

Не блаженная, нет! Знай ходила в совет нечестивых  
И шаталась по грешным, порочным, безбожным пирам...  
Не в велениях Господа черпала волю, забыв их, –  
Но в гордыне, унынии, похоти, трам-тарарам!

О, Псалтырь обещает: – Ты станешь как древо при речке,  
Коль законы Его соблюдешь. Будешь вовремя цвести,  
И листом шелестеть, и плоды приносить без осечки,  
Успевая (от слова «успешно») во всем, что ни есть.

Нечестивцы и грешники (прах, возметаемый вихрем:  
Дескать, прочь от людей, коротающих век по любви), –  
Так и жизнь проиграем, и горькие слезы не вытрем,  
И падем на стезях исхищрения... Господи, останови!



\* \* \*

С откоса, где в Волгу впадает Ока,  
Мне Новгород Нижний  
Сквозь обморок нежный  
Открылся...

«Ты видишь свеченье?»

– Ага, –

Мне друг улыбнулся, слепой и кромешный.

(...В весеннем поту оседали снега,  
Как век, опозоренный, лживый, потешный,  
Под коим – под веком и снегом – века...)

Как долгие эры, текли облака –  
Над местной минутой, ничтожной и грешной,  
Где все-таки не одинока Ока.

– О, как мы блаженны во тьме безутешной,  
Введенной в свои – не свои – берега, –  
Ты видишь, ты видишь, ты видишь?

– Ага.

\* \* \*

Все мои близкие сходят с ума –  
Я-то сама уже год как сошла  
И потому говорю не со зла, –  
Сходят, как снег, когда полужима –

Полувесна... Полоумная речь –  
Талой водою... Последняя дочь,  
Я не могу своим близким помочь.  
...Я не хочу себя больше беречь.

\* \* \*

Думая о вольности и верности,  
Об изнанке, что равна поверхности,  
О Каштанке, – я была глупа,  
Как перебродившая толпа.

Ощущая вывихи и промахи  
Ворохом сирени и черемухи,  
Я была до дна искажена –  
Никому не мать и не жена.

На исходе страшного столетия  
Подошла к необратимой Лете я  
И стою на влажном берегу...  
Не хочу. Не знаю. Не могу.

\* \* \*

Солдат, сынок, инвалид  
С бутылкой наперевес.  
...Звезда, как маяк, стоит  
На чёрной воде небес.

Старуха, шептунья, тля  
С похлёбкою для собак.  
...Полночная спит земля,  
Лицо окунув во мрак.

Ставрогинской складки двор  
Ломает свою комедь...  
А время глядит в упор:  
Рождение – тяга – смерть.

\* \* \*

Привыкай – разворачивай – режь –  
Отрывайся – тай – не тревожь...  
Я устала от ваших депеш.  
Я устрою дебош.

Не хватало, чтоб дух лебезил!  
И – как спьяну, дрожа –  
Я булыжник швырну в лимузин,  
Проезжающий мимо бомжа.

Обожаю сей град,  
При чужих ненаглядный стократ.  
...В память детскую, как в конуру,  
Как дворняга, забьюсь – и умру.



\* \* \*

Напраслину впитав, а не оспорив  
И облик изначальный потеряв,  
В чужое поле вмерзла, как в апокриф,  
С утратою намерений и прав.

Да будь мой опыт начисто размолот!  
Я начинаю

заново,

как Ной.

...Черёмуха цветёт.

Смертельный холод.

И мостик в лето – душно–ледяной.



\* \* \*

Не унижайся, не падай навзничь,  
Превозмогая – не сквернословь...  
Время горит, как Мария Лазич:  
Спичка – отвергнутая любовь.

В зеркало смотришь – оно пустое.  
Сны полоумствуют. Явь крива.  
...Много ли проку в твоём настое:  
Слёзы, и водка, и трын-трава?

Сядь в электричку, и выйди в тамбур,  
И задохнешься, как в первый раз  
(Больно – поэтому б е з метафор):  
Просто осина и просто вяз.

Он от тебя Свою Волю прячет,  
И, не осилив земную дрожь,  
Ты как звено распаялась... Значит,  
Самоизъятием цепь спасёшь?

Или сиротской смолою духа  
Склеить края,  
        чтобы снова – в путь?  
...Кладбище старое, как старуха,  
Манит и гонит: «Ещё побудь».

Сколько пристало земли к подошвам!  
Но, прорубая последний лаз,  
Я не намерена гибнуть в прошлом.  
...Просто осина и просто вяз.

\* \* \*

Лишь гуляка есть осчастливлен!  
Листопад... стихолёт... пожар...  
Летний сад под осенним ливнем  
За Лебяжьим мостом дрожал;

Муза плакала, и кричала,  
И раскачивала кусты;  
И глаза была, курчава  
Аллегория чистоты;

И Крылов, изнывая в камне,  
Над парадом царил зверья.  
...Вся навыворот,  
                                вся велика мне  
Исступленная жизнь моя!

\* \* \*

Пушу с лотка глаголы мамины:  
*Терпеть, бояться и беречь*, –  
Нет! Я за то, чтоб были пламенны  
Жестикуляция и речь, –

Как роща над овражной бездною,  
Вот-вот готовая в обвал...  
Я – бестолочь.  
Я вами брезгую, –  
Кто в оторопи не бывал!

...Краюхи замысла раскрошены,  
Рассудок хром, как инвалид, –  
Но жар печной от скоморошины  
Меня больную исцелит.

Когда я выплещусь (и выстою),  
Мне ход откроется в ночи:  
За станцией, за тьмой, за Истрою –  
Картофельные спят грачи

По веткам...  
Но любовь, как мания,  
Как острый и внезапный бред,  
Сорвет их бурей бессознания –  
На ощупь, напрямик, на свет.







## II

Кто тебя нежит и кто тебя холит,  
Охра осенняя? Озеро Охрид.  
Брезы (берёзы), трава, виноград,  
Сельская котлина, маленький город,  
Звезды глядят из небесных палат...

– О, Македонии бисерный плат!

*Сентябрь 1995.*



\* \* \*

Добже, как мне бы сказали в Польше,  
Словно не зная, что жизнь – беда,  
Склонная длиться гораздо дольше,  
Нежели предполагалось... Да.

Дурью зажатая полудетской  
(Глуп нестареющий человек),  
Едучи улицей Павелецкой,  
Где сохранились трамвай и снег, –

И ни на миг не избывши дрожи  
(Полустрадание-полуспесь),  
Всё-таки я повторяю: добже!  
...Всё-таки добже – теперь и здесь.



\* \* \*

*Марике Коберидзе*

Это кто валандается-мается?  
Это кто томится на мели?  
Лиственница, горлица и матрица –  
Сестры непокорные мои.

Хорошо податливым как олово –  
Тугоплавким ох как тяжелей!  
(...Долго-долго ехать до Савёлова  
Мимо котлованов и полей...)

У земли, как у скотины яловой,  
Нет сил на подвиг и на вой.  
Не мори нас, Боже, не вымарывай,  
Как описку в почте деловой.

Сметена очередная Герника,  
Но,  
    не слыша погребальных труб,  
В кущах ядовитого борщевника  
Мифами опился однолюб.

Погляжу на свет – ополовинена  
Чаша, не подсудная уму.  
...Боль терпима,  
                    если на любви она  
Настоялась – вопреки всему.

И. Ц.

«Родиться в России с умом и талантом» –  
Несчастье! Но хуже – родиться с гордыней,  
Лишенной смирения... Девочка с бантом  
Глядела как в шоке на ельник, на иней,

На хлебное поле в сокровищах сорных,  
На мелких улиток, закрученных туго,  
На дальние звезды размером с подсолнух,  
На хищных зверей карусельного круга,

На фрески в метро и на школьную доску...  
Висела на брусьях. Зубрила таблицу.  
Хозяйственным мылом стирала матроску  
И строем ходила на «Синюю птицу».

А мир наплывал как любовь и угроза,  
Как страшное и вожденное чудо...  
Казалось: душа развернется как роза.  
Случилось: уродливый бунт из-под спуда.

...Уже на ветру покосился треножник,  
Своей кривизною судьбу повторяя.  
И скоро хорей размоет раёшник –  
Похожий на рой и далекий от рая.

\* \* \*

Много ль смысла оно принесло вам –  
Говорение? Горечь и вой.  
...В корни слова уйти корнесловом.  
Отлежаться во тьме речевой.

Ибо только  
                                немой и немая  
Понимают друг друга сполна,  
Душ ответственных не различая...  
Говорила, бубнила, спала –

Пробудилась, когда замолчала:  
Так в темнице  
                                встречают  
  зарю!  
...Начиная с азов и с начала,  
Несказанное – боготворю.

\* \* \*

Сила была могучая.

Однако ее не хватило.

Села, как ткань и голос. Разве что гонор вырос.

Вглядываюсь в очертанья жизни как негатива:

Вроде бы всё в порядке – только не плюс и минус.

Они поменялись ролями, местами и полномочьями...

Где вы,

мамины прописи и папины рубежи?

Голову сжав руками, неюными и рабочими,

Думаю, думаю, думаю, как прожить не по лжи.

Впишусь ли в чужое поле,

горчайшей слезой прольюсь ли я,

Юродивой ли училкой закончу достойный круг?..

– Спасибо за то,

Всевышний,

что время – всегда иллюзия

Реки проточной и пыточной и полной крутых излук.

\* \* \*

Прозренья мои – как урки,  
Присевшие на пригорке.  
Курила всю ночь. Окурки  
Страшнее, чем оговорки.

Еще я пила из кружки  
Чифирь смоляного цвета.  
А кошка вострила ушки,  
Не видя во мне поэта.

Психуя, моя Психея,  
Как лодки, качала плачи:  
– О, жившая во грехе, я  
Не знаю, как жить иначе.

Отпела и отгорела...  
Когда ты меня отпустишь,  
Бессонница *без Гомера* –  
Мучительная, как пустошь?







\* \* \*

О. И.

Даже если печаль глубока,  
Не хочу, чтобы сладко глядели, –  
Ибо я не гожусь для лубка  
В отдаленные даже модели.

Ибо, жизнь ненавидя свою,  
– Так холопы громили поместье –  
Я упрямой башкой раскрою  
Умиление с примесью лести!

Но весной... Когда соловей...  
Но едва лишь кусты на могиле...  
Я,  
    не слыша гордыни своей,  
Так хочу, чтобы просто – любили.

\* \* \*

Сжала губы полубантиком,  
Полу – нищим узелком...  
Полно мне кружить лунатиком,  
Нытиком, еретиком!

Не приемля всеми жилами  
Новый паводок и слог,  
Напишу – большими вилами  
По водице – некролог.

Дескать, жили, были, канули  
Мы – без кузни и казны, –  
Не совпавшие с лекалами  
Небывалой кривизны.

«Прощевайте!»

... Тем не менее

Кланяюсь тебе, Земля,  
Тихо уходя под пение  
(С неба) Юры Коваля.



\* \* \*

Все равнодушной, все аморфней,  
Все плоше сбивчивая кровь...  
Тебя преобразят, как морфий,  
Мои жестокость и любовь –

Ненáдолго. И снова ломка;  
Тревоги иволга; врага  
Сварганить; голосить негромко, –  
Покуда радуга-дуга

Взойдет над кровью, как над рябью  
Узорной: озеро... осот...  
Игла – и гибель! Душу рабью  
(Твою, спесивец) н е спасет

Умышленное зазеркалье,  
Правдоподобное как ложь.  
...Ты былью был. Тебя украли.  
И мне ль распутывать грабеж?

\* \* \*

*Мне ничего не надо.  
Я падаю в себя.*

*В. Ходасевич*

О, покуда живешь, – как материя, зреешь,  
Ибо существование алчно и сыро...  
Я – избыток меня, не желающий зрелищ,  
Уходящий в молекулы тайного мира, –

Чтобы там отмолчаться и выстроить долю,  
Точно в школьном углу – в наказанье за норы.  
...А еще я завидую зимнему полю,  
Где животные могут *отдельничать* в норах!

Смерть огромней, чем жизнь,  
но реальной, чем символ.  
Это знание лежит у судьбы в подоплеке...  
Бог пришел и баюкает: деточка, спи, мол,  
А проспидься – иди и расти по дороге.

\* \* \*

Небеса печальны, темны, волнисты...  
Миновала эпоха – сменился климат.  
Будетляне (следом – небывалисты)  
В настоящем будущего не имут.

Говорю не праздно и не капризно,  
А с трудом собирая себя по крохам,  
Что моя заносчивая отчизна  
Поросла полынью с чертополохом, –

Что Большой Медведицы ковш  
бездонный

Истощился и нету чудес в записке...  
Ты ко мне заявишься: пеший, конный  
Или встав от ужаса на карачки, –

«Вот он я!» (Ненаглядный, седой,  
бессильный.)

О, не будем стенать и глазами хлопать.  
«Постирай рванину». И в пене мыльной  
Растворятся долгие грязь и копоть.

Помнишь надпись, что на воротах ада  
Не велит надеяться? Но пока мы живы,  
Есть надежда, есть... На сквозняк  
из сада,  
Где над нашей участью плачут ивы!





\* \* \*

Я псалмы прополощу в подкорке...  
Кто мне подпевает сам не свой –  
Черновик ли в мусорном ведерке,  
Брошенный любовник, домовый

Или снег? А может, гулевая,  
Нищая, недружная родня?  
Я пою псалмы, околевая  
На исходе ужаса и дня.

Не нуждаюсь в вашем потаканьи –  
Ухожу далёко-далеко...  
(Опухоль, съедающая ткани;  
Киснущее в банке молоко;

Ржавые кусты на косогоре;  
Грязная и спутанная нить.)  
Я пою псалмы: какое горе  
(Так в первоисточнике!) –  
*блудить.*

Впрочем. Знаешь? Никогда  
не поздно.

Скоро дух болезный отболит  
И расслышан будет, и опознан,  
И прощен как добрый инвалид.





\* \* \*

Мы подростки. Мы прыгнули в кузов.  
И – вперед, и – в поход, и – в побег!  
Это было в эпоху арбузов,  
Задаемых кашей «Артек».

На руинах разбитого храма,  
Где крапива росла в алтаре,  
Мы играли в «секреты» (незнамо –  
От кого), мы копались в старье,

Где непарные туфли без пряжек,  
И военного горна раструб,  
И окурки на пару затяжек,  
И заморская вещь – хула-хуп,

И весло от потопленной лодки,  
И пилотка, и даже шлея...  
Я и впредь лоскуты и ошметки  
Почитала за гул бытия.

...Мы стареем – спесивы и жалки.  
Мы уходим – опять и опять –  
На зады, на руины, на свалки,  
Дабы новое время понять,

Дабы, роясь в метафорах сора  
И склоняясь над рухлядью ниц,  
Ощутить себя частью простора  
И одной из ненужных вещей.



\* \* \*

Падаю! О, протяни мне руку.  
...Вновь разобьюсь о частицу «не»  
Я – обреченная на разлуку  
И на балтийский закат в окне

В раме простецкой, смолистой, грубой...  
Что – убедилась, оторопев?  
Если над миром склоняться с лупой, –  
Страшен и порист его рельеф.

Лучше – сквозь заросли, хмель и дымку.  
(Вереск. Папоротник. Кизил.)  
Лишь бы вповалку, впритык, в обнимку  
Дух обоюдности голосил.

Стану язычницей (старой дурой)  
Шишки и желуди вместе жечь –  
В поздней попытке спастись натурой,  
Преображающей плоть и речь.

\* \* \*

Эта жизнь – исчадье дури  
Без надежды на успех...  
Жили-были. Зелье дули.  
Проклинали смену вех.

Как заложники расплаты,  
Непричесанные – шли  
(Раз-два-три и аты-баты)  
Лабиринтами земли

В башмаках от «Скорохода»  
(Страшно... муторно... старо... ),  
Опускаясь год от года  
До отметины z e r o.

...Но, гася глухие всхлипы,  
Говорю себе: – Терпи! –  
И прошу у Бога: лишь бы  
Выжить сорняком в степи...

Лишь бы в облаке обиды  
Возле станции чуть свет  
Хором пели инвалиды  
Песню допотопных лет.

Лишь бы ужасаться! (Если  
Больно, то душа – твоя).  
Лишь бы вовсе не исчезли  
Злые

знаки

бытия.



\* \* \*

То ли сполох беды, то ли радуга,  
То ли Муза в мужском пальто...  
Я не вашего поля ягода!  
Я не ягода. Я не то.

...Грянут с неба огромные градины –  
Станут прыгать, как злой горох!  
Но царапины, шишки, ссадины  
Равнодушьем покроем мох.

Я любила, но больше – плакала...  
Комментарий

даю

к судьбе:

Если девочку стригли наголо,  
То она навек не в себе, –

Как в чужой, недающей местности  
(Поперек. Вразрез. Не в ладу.), –  
Всю-то жизнь умирать от пресности,  
Точно рыбе морской – в пруду.

\* \* \*

Как горькая строчка на три стопы,  
Как сон, поразивший с детства, –  
Все чаще случаются при-сту-пы  
Сиротства и самоедства.

Как длинная нитка щербатых бус,  
Как школьного шелка лента...  
И мир оказался старик и трус  
В обличии диссидента!

Мой род иссякает теперь и здесь,  
Не выдержав испытанья.  
«Примета стиля – больная спесь  
Твоих мемуаров, Таня», –

Мне будет голос сквозь снежный прах  
(Канавы; фонарь; аптека)...  
Не жизнь – лишь галочка на полях  
Горящего в топке века.

Е.Р.

Истощилась и скурвилась ода  
На листочках в косую линейку...  
Я войду к тебе с черного хода,  
Я последнюю знаю лазейку.

Ты, в рубашке в больничную клетку  
И с кудрями до плеч под Бальмонта,  
Стал похож на себя – малолетку,  
Для которого нет горизонта,

То есть четко прочерченной грани  
Меж звездой и булыжником Пресни...  
Быть живым. Не зависеть от дряни.  
Замышлять гениальные песни.

Ты, твердивший, что «люди не волки»,  
И друзьям не дававший покою, –  
Помнишь, как мы кутили на Волге  
И стояли впотьмах над Окою?

Быть живым! Я не знаю лекарства.  
В этом свертке – лимонные дольки,  
Карандаш, табакерка, полцарства,  
Память юности... Люди не волки.

\* \* \*

*О. Клиngu*

Я в детстве, как лесная ель,  
Мечтала, чтоб меня срубили  
И нарядили в канитель  
Под выхлопы и тили-тили...  
Но мир свирел в свою свирель,  
В сердцах одергивая: – Ты ли?

Мой ангел был мертвецки пьян,  
Земные дни ополовина, –  
Меня менял самообман,  
Как грандиозная давилня...  
Но слава Богу, что туман  
Впотьмах сгущается – до ливня.

Спасибо голосу, что пел  
В избытке жалости как пыла.  
...Царила мель. Крошился мел.  
Обожествляли конвоира...  
Но дух  
        свирел  
                        и свирипел  
По наущенью Велимира!

\* \* \*

Какая родословная без мифа,  
Который разом горек и лучист?  
Мой дед  
        скончался  
                от сыпного тифа,  
А был красавец и эсперантист.

На перекрестке времени и места,  
Где вскоре воцарится кабала,  
Двоюродная бабка из протеста  
Взяла и яду в полдень приняла.

Вас прежде срока уложила Клио  
В отдельную древесную кровать:  
Не выгнула, как сталь не закалила,  
Изъяла до террора... Благодать!

По возрасту – не предки вы, а дети  
Мне, выросшей в массовой тупике...  
А смерти нет. Есть участь – лихолетье  
Как тяжкая, как общая река.

\* \* \*

Художница пашет с утра в ателье.  
Собака лежит на цементном полу.  
Не терем, не замок, не дом, не шале, –  
Но короб рабочий, где свалка в углу.

«Квадрат» – неуместно сказать: *окружен*,  
Скорей *оквадрачен* кусками фольги.  
Художница смотрит и думает «Schön?»\*  
На бедные смыслом квадратокрыги, –

Решая ремесленно важный вопрос:  
Возможно ли кальку взвинтить изнутри?  
Назавтра грядет инсталляция... («Пес,  
Ты слишком живой и мохнатый, замри!»)

Ключи, фотокопии плюс ордера  
Развесит по стенам, втирая повтор  
В собачью сетчатку, – чтоб позже (ура!)  
Сорваться – на воздух, на ветер, на двор, –

Впадая, как мелкая речка, в кураж...  
А лай означает велье: «Восславь,  
Играя и бегая (к черту – коллаж!),  
Кривую,  
        вонючую,  
                        теплую явь».

А явь изнывает, и дышит, и мрет,  
И плачет в подушку, и прет на рожон,  
И – кукиш художнику, ежели – врет!  
...Должно быть, лишь это – воистину schön.

Германия. 1999.

---

\* Schön (нем.) – красиво.

\* \* \*

Дабы пустошь музыку исторгла  
(Зелень – изумление – роса!) –  
Я Пегаса вытурю из стойла  
На простор,  
                  на холод,  
                                  в небеса –

Над страницей белой, как горячка,  
Над поденкой с часу до пяти,  
Над двором, где каждая подачка  
Требует: «Натурой доплати»,

Над урбанистической конюшней,  
Купленной и сгубленной насквозь, –  
Мой конек, мордатый и ненужный,  
Воспари, надеясь на авось,

То есть, на крылатую повадку  
И на хвост, которым гонят мух...  
– Ну, лети! –  
                  ...А я свою тетрадку  
Подставляю, затаивши дух.

\* \* \*

Когда ты пьешь один, когда с улыбкой мрачной  
Пластинке говоришь, как девочке: «Играй» –  
Я брошена, как мяч у изгороди дачной  
(Уехал, забыв заколотить сарай),

И в изморози я – ненужная – зимую,  
И лгу сама себе, что сторожу жилье,  
И слушаю звезду, огромную и злую,  
Но все-таки м о ю... Я слушаюсь ее,

Родную сироту среди чужих созвездий  
(Возможна параллель, но нет, остерегусь)...  
О, стол на Рождество – напротив у соседей,  
Где свечки, и пирог, и золотистый гусь, –

А ты сидишь во тьме, а я лежу в канаве,  
Как пионерский мяч... Сколь мощен человек,  
Когда с библейских лет его не доконали  
Разливы страшных бед, и катастроф, и рек!



\* \* \*

Как расколотый орех,  
Эхо грянуло в горах...  
Я была твой тайный грех  
Ты – мой очевидный крах.

Но исчерпанность пути  
Не зачеркивает путь.  
Надо вовремя уйти,  
Испариться, ускользнуть

В кучевые облака  
И разбиться, отлюбя,  
Об леса и об луга!  
...И себе – простить – себя.







# Depression

*Р. Леонович*

Разучилась петь, и любить любовь, и ходить на речку,  
Удивляться, плакать, готовиться к медосмотру,  
Танцевать от печки, и снова влезать на печку,  
И варить картошку, и гладить кошачью морду.

Разучилась учиться, ходить конем, а не в ногу,  
Покупать билеты на поезд «Москва – Полома»,  
И сушить грибы, и вскакивать на подмогу,  
И читать Катулла всю ночь под раскаты грома.

Я на мир обиделась, я отвернулась к стенке,  
Где узор из трещин, как иней, лег на обоях...  
О, зачем подростки дерутся на переменке,  
Предрекая главные битвы, погибнуть в коих

Суждено позднее? (В прихожей стоят ботинки:  
Просят ваксы, хотят на улицу, ждут погоды...)  
Разгадать обойные шифры, пока на рынке  
В ликованьи торго звереют и мрут народы!

Разглядеть, как в лупу, царапины, пятна, дыры,  
Ибо Музе – мусор (созвучье?) дорожке кладки.  
...Я еще восстану! Я выйду с лицом задиры  
На просторы жизни, родины и загадки.



\* \* \*

О, девочка моя нерóдная  
С пометой смерти на запястьи, –  
Почти в аду, как степь безводная,  
Почтив безумие за счастье,

Напяливши мешок с оборкою  
И северо-восточной вышивкой, –  
Сходи на нет, дыми махоркою,  
Но только, заклинаю, вышагай

Языческий отрезок участи  
От гибели (но нет!) до удали, –  
Чтоб злые духи невезучести  
Раскаялись, что путь запутали, –

Хмельная от росинки маковой  
И пряча помутненный разум, –  
Отнекивайся и поддакивай,  
Ворон считая в небе грязном, –

Но только выживи – до августа,  
До рая, до звезды, до Кая,  
До зги, до вести – ну, пожалуйста!  
...Я знаю: я сама такая.







Экая невидаль:  
душу ограбили!  
Дам ей поплакать –  
и лбом поверну  
В лучшие годы,  
где с двойкою в табеле  
Дети – ликуя! – бегут по бревну.

# Вам в привет

Начала

*Ирине Щербаковой*

С самого начала жизнь моя, как говорят в народе, пошла слегка кувыркком или на частичный перекосяк. Сразу же – история.

Я родилась на Арбате 21 апреля 1949 года, двадцати минут не дотянув до полуночи. Тогда бы явилась на свет Божий в один день с Ильичом, к чему и стремилась моя сознательная позднородящая мама и даже, по семейной (потом уже ёрнической) легенде, просила акушера подзадержать роды. Акушер на нее цыкнул – дескать, либо Ленин, либо вы, мамаша с младенцем. И я поспешила родиться.

Меня сперва хотели назвать победно – Виктория. Но, слава Богу (какая из меня победительница?), окрестили просто Таня. В честь героини Пушкина. Так что я – Татьяна не-Ларина.

*Она в семье своей родной  
Казалась девочкой чужой...*

В самом раннем детстве сначала была улица Башиловка, потом речка Таракановка, затем деревня Бузланово. Какие-то все татарские имена... А первую любовь (мне пять лет) звали Ледик.

Лестничный пролет между этажами. Тусклый зимний солнечный свет со двора в окно. Тайные срамные игры. Разоблачают. Наказывают. Лишают елки. Страх, что «все узнают» (– А почему ты в этом году без елки? –), синяя юбка «плиссе», а верх как матроска, короткие чулки в резинку, сказки братьев Grimm, манная каша с рыбьим жиром, тетя – моя любимая Мика, – с которой мы разучиваем на ненавистном пианино ненавистного Гедике.

А лет двадцать пять спустя мама, искренне изумляясь, спросила не без обиды:

- Откуда у тебя в стихах словосочетание «ужас детства»?
- Оттуда.

Пианино называлось «Ростов-на-Дону». Я его, уже лет в двенадцать, боля то свинкой, то корью, использовала так: подымала крышку и клала на внутреннее устройство

(металлические шутовины, молоточки, колки, струны) том Мопассана, которого мне читать строго-настрога запрещали. Долго сходило с рук. Покуда некий родительский гость не кинулся неожиданно к инструменту «наиграть мелодию», – а она возьми и не наиграйся: струны-то придавлены. Опять разоблачение. Опять кара. Опять «преступление и наказание». Опять кругом виновата.

«Фоно» наконец кому-то отдали (с Богом), а от моих неуспешных занятий музыкой навеки осталась нотная грамота в виде, в частности, песенки:

*До-ре-ми-фа-оль-ля-си...  
Ты, мартышка, не форси.  
Если будешь ты форсить, –  
Мы не будем голосить!*

Это еще что! Основной детский фольклор тех лет был куда дебильнее. Например:

- Ты за луну или за солнце?
- За луну.
- За советскую страну.
- Я за солнце.
- За проклятого японца.

Полный бред. Но может быть (даже скорей всего), это была народная сатира, пародия на официальную идеологию «железного занавеса», на всех этих мистеров Твистеров? Ведь и во взрослых частушках звучала и тоска, и ирония.

*...Говорила баба деду:  
«Я в Америку поеду».*

Далее – нецензурно.

Летом снимали дачу на Москва-реке. Ходили в платьях с «крылышками» и «фонариками», иные – в панاماх. Перламутрово-розовых червей для рыбалки собирали в коробку из-под монпансье, кажется, «Большевичка». Гамак. Крокет. Грядки с укропом. По крутым речным откосам росла полусадовая земляника и пронзительно-кислый щавель. Собирали и использовали на обед. Папа вышагивал по деревне в полосатой атласной пижаме и в тапках со шнурками на босу ногу. Здесь у него была репутация чокнутого, но он не унывал, делал по утрам зарядку на берегу в огромных «семейных» трусах и задавал местным аборигенам социологические вопросы невпопад. А если кто из нас, детей, шумел сверх меры, то он останавливал его загадочной, из допотопного городского фольклора, песенной фразой: «Алеша, ша, возьми полтона ниже и брось арапа заправлять». Смысл оставался невнятен, но

окорот, как ни странно, воздействовал.

Няня Граня (Аграфена Каурикова) была ростом с Маяковского, и размер обуви – 45-й. Она, ибо родителям всегда было некогда, упорно учила меня азбуке, точнее – алфавиту (тут Граня делала ударение на втором слоге): «А – акно (имелось в виду «окошко»). Г – горох. К – Каурикова».

Еще Граня мне сказала, что Ленин и Сталин тоже «ходили» в уборную и по-большому, и по-маленькому. Меня это поразило – и харизма вождей моментально и навсегда треснула.

Кстати, о Маяковском, на которого была похожа няня Граня. Это я не поздним умом их сравниваю – близкое сходство я сама обнаружила именно в детстве. Маяковский был первый поэт, которого Граня мне читала вслух и «с картинками»: имелся у нас такой огромный юбилейный том – эпитафия из Сталина, масса иллюстраций, фотографии, всякие окна РОСТА, «крошка-сын к отцу пришел» и так далее. Я, требуя почитать мне трибуна, но речью еще владея не вполне, кричала, воздевая руки к фолианту: «Дай – МОИ КОТИКИ (вместо дай Маяковского!)» Взрослых это очень потешало.

(Стало быть, года в три я самостоятельно въехала в рифму, притом составную и дактилическую. А Маяковского с тех пор не люблю – вплоть до несправедливой агрессии).

На даче в Александровке у соседской девочки керосином травили вшей на голове – в густых каштановых волосах, а потом взяли и постригли наголо. Она горько плакала, будучи уверена, что навсегда превратилась в мальчика. Ее все лето дразнили: – Ганс!

А меня, как только пошла в школу, дразнили, исходя из фамилии, «Бяка» или «Бекеша». Опять татарщина – прямо мистика татарская!

У Мики на коммунальной кухне в Колобовском переулке произошло при мне зловещее чудо. Сосед (или гость – точно не помню) разделяет привезенную с рыбалки рыбку – щуку. Нож огромный, острый, специально наточенный. Я ассистирую, воображая себя медсестрой при хирурге, которым я, кстати, долго мечтала и планировала стать: и впрямь пошла бы учиться в МЕД, когда бы не тотальная тупость в физике и в химии... Итак, «хирург» взрезает тугий щучий живот – о-о-о, там целая другая рыбка, как в матрешке, и он говорит: «Тоже щуренок». Вынул хищника из хищницы, и давай разделять щуренка, а в животе у того – снова рыбешка, хотите верьте – хотите нет. Выходит, огромная щука заглотила живьем речного соседа, который к тому времени тоже кого-то съел. Я вся дрожу

– то ли от азарта, то ли от ужаса. На ужин жареную щуку есть не смогла. Хирургом не стала.

Первые в жизни стихи я написала лет в шесть:

*На лугу растет цветок –  
Очень синий василек.  
Я сорву его букет  
И поставлю вам в привет.*

Так вот и сказалось: вам в привет.

Следующие стихи были более публицистические, на злобу дня. Году этак в 60-м в Тихом океане заблудились на барже четверо молоденьких советских солдат, которые много дней провели наедине со стихией, без пищи и без пресной воды. Потом их чудом спасли – кажется, американцы, – и по нашему радио передали, что солдатам срочно была оказана медицинская помощь и приготовлена (диктор так и сказал) «грандиозная яичница». Помню, как моя интеллектуальная бабушка-библиограф всерьез спорила со своей двоюродной сестрой-педагогом, старой девой Верочкой, сколько же в этой яичнице могло быть яиц. На четверых – по три? Или больше? Не вредно ли сразу?

А молодежь (включая меня) тем временем повсеместно распевала самодельную песню:

*Поплавский – буги,  
Поплавский – рок,  
Поплавский съел  
Чужой сапог!  
Зиганшин – рок,  
Зиганшин – буги.  
Зиганшин съел  
Письмо подруги.*

Итак, я дружно распевала это со всеми вместе, но в душе параллельно воспаряла как тайный романтик и сочинила следующее:

*Родная гармошка  
И старый сапог,  
А снится картошка  
И пива глоток.  
Штормило и выло,  
Но все же ребята  
Устроили пир  
В день рождения солдата.*

«Пир» – это именно вареный сапог. Бабушка и Вера Соломоновна, которым я открылась, пришли в восторг и за

чаем сравнивали меня с Бодлером как автором стихотворений «Человек в море» и «Плаванье». Они до старости лет были из гимназисток и из «благородных девиц».

Кстати, про Веру Соломоновну – чуть подробнее. У нее, говорили, был жених, он погиб на Первой (да-да) мировой войне, она чуть не умерла от горя, но родители взяли и повезли ее отвлечься в Египет, где она, Верочка, ездила верхом на слоне... Теперь она живет в коммуналке на задах Склифосовского, ее очень любят ученики в школе, у нее коллекция открыток с портретами писателей, и вставные зубы, и черепаховый гребень. «Она наша ближайшая родня, она хорошая, ее обижать совсем нельзя», – просительно растолковывает мне мама, подслушав однажды, что я хоть и маленькая, но мучила ее иезуитскими вопросами. Как мучила – не скажу: до сих пор – безмерный стыд.

Первая смерть – двоюродный брат Юра. Он был красавец, он учился в Консерватории, он участвовал в Фестивале, он женился на негритянке. Он был одним из первых, отважно-вдохновенных джазистов. У него был свой «Москвич». Он, чуть за двадцать, разбился в автокатастрофе.

Шок.

С пожилой родственницей ходим по магазинам на Петровке и покупаем новые трусы, майку, носки, в которых Юру – хоронить. Она, очень полная и вся в веснушках, плачет, плачет, плачет и зачем-то все рассказывает продавщицам.

Как это: «навсегда остаться молодым»? До поры до времени не понимаю.

В Бога долго не верилось. Пока одна подружка, со двора на Песчаной, очень убедительно не рассказала, что сильно болела (нам лет по шесть), лежала одна и в жару, а мама ушла на работу. И вот она, девочка, стала молиться: «Бог, верни маму, верни маму», – и в результате молитвы мама пришла («представляешь, я молилась – и она пришла!») – и стало легче, и девочка выздоровела, и Бог есть точно. Именно тогда – до всякой церкви – я поверила.

В первый класс я пошла в школу № 144, а учительницу звали Евгения Терентьевна. Больше не помню ни-че-го. Амок.

Нет, кое-что помню. Школа была четырехэтажная, из грязно-красного кирпича. Ходили в почти тюремного вида черно-коричневой форме (а мальчики – в серой) с обязательными мешками для сменной обуви и с нарукавниками. С исключительно и только черными лентами в косах. Мне косы долго укладывали *крендельками* – была такая прическа. Потом на протяжении

детства и отрочества фигурировали вокруг и такие прически (мне и сейчас нравится их называть): *ежик, бобрлик, кок, горшок, корзинка, хала, кукиш, валик, бабетта, гаврош, «я у мамы дурочка», вишивый домик, конский хвост* и так далее.

Метафоризм обыденной речи.

На уроках физкультуры удушливо пахло резиной (маты и козлы) и потом. Когда нас, девочек, по пятеро-шестеро заставляли виснуть на брусьях, – то Физра (кличка учительницы) непременно про нас говорила, обращаясь к ждущим своей очереди мальчикам, одну и ту же фразу: – Ну, повисли как сосиски! – Сравнение было точное. А шаровары у всех – вне зависимости от пола – были сатиновые, тускло-лиловые, тоскливые.

Пеналы – перочистки – непроливайки – табель – «Пионерская правда» – проверка ногтей и нет ли в горле вонючих «пробок» – гербарий из подснежников – новые слова и новые сведенья во внеклассном лексиконе: – А у тебя отец с матерью тра-та-та? –

Самое праздничное воспоминание той поры – пускаем мыльные пузыри! Долго готовим исходный материал и инструментарий – разводим мыло (можно урюмо-коричневое «Хозяйственное», а можно ядовито-розовое «Земляничное»), размешиваем склизкую пену в воде, добываем толстую серую макаронину. Выходим на балкон. Дуем в трубочку – шар ширится, переливается всеми красками спектра, завораживает, бликует на солнце. Лопается – брызги во все стороны, – и сразу новый на смену. Красота! Еще красота – бензиновые лужи и «зайчик», пущенный из нашего окна в чужое маленьким зеркалом от маминой пудреницы. Оптическая тайна света и цвета.

Во второй класс я пошла в другую школу. Мы переехали от Чапаевского парка в район тогдашнего Инвалидного рынка, куда малолетней группой ходили как бы пробовать малосольные огурцы, чтобы ими наестся вволю. Новая школа была № 152. Интересно, зачем на всю жизнь нам запоминаются совершенно ненужные цифры и номера: телефонные, трамвайные, лотерейные? Там учительницу звали Лидия Николаевна, она была совершенно седая и бледная как мел, которым писала на доске прописи. Она была совсем одинокая: мы позднее ее, больную и на пенсии, с девочками навещали и она кормила нас жареным хлебом с солью и с луком. Задолго до нас, еще до войны, Лидия Николаевна учила Зою и Шуру Космодемьянских и бесконечно нас этим, навсегда свихнувшим



ее сознание, опытом – мучила. «А Зоя с Шурой так бы не сделали (не прогуляли, не наврали, не нагрубил)». Она и зимой, и ближе к лету ходила в мрачном темном шерстяном сарафане и в белой блузе с круглым отложным воротником, обутая в бретки – этакие закрытые туфли на пуговках и совсем без каблука. Как я теперь понимаю, она была тихая – не злая и не добрая – безумица.

В школе № 152 (впрочем, это была типичная советская бурса) вообще царило четко структурированное безумие. Завуч Неонила (за глаза мы их всех звали только без отчества, а на многих имели место и эпиграммы, вроде: «Неонила, Неонила, // проглотила крокодила») передвигалась как на протезах и чинно входила в туалет для мальчиков посреди перемены: «Чем вы тут заняты?» Директор Зинаида перед началом занятий в школе, ближе к 8-30, вставала у подножья лестницы и медленно опускала свою ладонь на голову каждой девочке: нет ли начеса? А вообще-то, получалось, что мягко била нас по голове.

Классе в третьем меня назначили играть Снегурочку, а Дед-Морозом – мою соседку по дому и по парте, самую высокую по росту и самую дисциплинированную в классе девочку Лену. Она, помню, не знала, гордиться ли почетным отличием или страдать из-за того, что назначили-то мужчиной, – так и осталась со смешанным чувством превосходства и унижения.

Мне же перешли снегуркину «шубку» из моего старого фланелевого халата – голубого в белый горох (это удачно, говорили домашние: горох как снежинки), оторочив самодеятельное одеяние снизу просто-напросто ватой в блестящих из крупной хозяйственной соли. Получилось здорово! Школьный вечер успешно минул, а дома на Новый Год – утка с яблоками, ура, и я – к особому умилению моего дяди-строителя Сергея Федоровича Макаровича – надела все тот же фланелево-ватный наряд и стала, уже после полуночи, зажигать палочки с бенгальским огнем, горящим веером держа их в руке. Искра упала на ватную оторочку, я моментально запылала факелом, потеряла скудный разум и побежала по квартире куда глаза глядят. Взрослые за мной – я от них! Совершенно отчетливо помню чувство отдельности и гибели, упоение, отчаянье, окончательную утрату рассудка, желание сгореть дотла. Влетела в ванную комнату, где хотела – пылая – запереться на крючок... Что это было?

Сергей меня поймал, скрутил, обжег руки до волдырей, облил водой, сорвал обгорелый халат. Приезжала «Скорая».

– Вы, – говорят, – отделались легким испугом! – И мне, и Сергею наложили повязки с мазью, которая терпко и надежно пахла дегтем, дали валерьянки, потом все взрослые, включая санитаров, выпили водочки за Новый Год и за удачу.

Утром, 1 января, о, блаженство: я гуляю по двору с папой, обе руки перевязаны, гордая-прегордая, горе-Снегурочка, раненая как на войне, в центре внимания. Все соседи в курсе, все подходят, округляют глаза, без усталости спрашивают. «А вы? А он?» Мы охотно отвечаем снова и снова. Елка удалась!

В 1958 году я летом впервые побывала в Ленинграде. Там маме делали ужасную онкологическую операцию (она потом, и не инвалидом, прожила еще без малого тридцать лет), а мы с папой жили у знакомых, чтобы каждый день в окраинной больнице, где мама лежала в коридоре, ее навещать. Мы в то лето все друг друга любили особенно сильно... Да. Были белые ночи.

Из культурной программы помню помпезный балет «Медный всадник», где меня потрясло декоративное наводнение и тот факт, что оно, как мне объяснили взрослые, из марли. Наверное, в этот момент я – уже тогда клиническая максималистка – наотрез отказалась доверять театру и особенно балету. А вечером хозяйка квартиры, где мы гостили, – чудесная женщина с округлым именем Руня и со стрижкой под мальчика, – прочла мне великую поэму Пушкина, по которой было скроено либретто, вслух. «Нева металась, как больной в своей постели беспокойной», – это было потрясающе, это было и про историю, и про сегодня, и про маму в больнице. Тут я навеки предпочла поэзию – марле иных искусств.

Вскоре (мы уже вернулись из Ленинграда в Москву) к нам пришли гости – итальянцы, прекрасно говорившие по-русски. Был среди них и мальчик Витторио, который очень плохо ел, а мой папа его подбадривал: «Виктор, нажимай на суп!» (Суп был бульон). И тут Витторио – к нашей лингвистической радости – стал и впрямь нажимать на бульонную влагу большой ложкой, недоумевая: «Он жидкий – как же нажать?» После этого у нас в семье на некоторое время возникла стихийная игра, которую я теперь назвала бы оживлением идиом, а тогда просто любила как валянье дурака. Папа: «Ты с ума сошла» – я: «Сошла, но на конечной остановке». Папа: «Одевайся теплее – холод собачий» – я: «Нет, пока еще кошачий». И так далее. А потом незаметно надоело.

У меня сестра Нина – она старше на девятнадцать лет.

Она уже замужем и живет отдельно, но к нам приходит почти ежедневно. Она ярко-рыжая, очень добрая, веселая, обаятельная, я ее обожаю, она учит меня вышивать крестиком. У нас для этого специальные, из сетчатого холста, тряпицы с канвой (мелкими цветными квадратами, чей общий рисунок напоминает стеклянную мозаику в калейдоскопе), круглые пяльцы и мягкие нитки «мулине». Сюжеты на выбор: розовый куст, не то курица, не то жар-птица, ветвисторогий олень. Я стараюсь: вышиваю и медленно, и прилежно – главное, хорошо закреплять узелки с изнанки. До победного конца довела только розу на зеленом стебле – правда, малинового мулине не хватило, и я часть лепестков вышила лиловым. Получился чуть ирреальный гибрид, но нам с Ниной это даже нравится. А один родительский гость поглядел и сказал: «Роза-полукровка!» Я долго думала, что «полукровка» – это ботанический термин, и лишь позднее узнала, что это – я сама.

Нина из салфетки с розой соорудила подушку-думочку: клади под висок, лежи на диване и думай. Чем я и увлеклась – приду из школы, залягу и думаю, думаю, думаю. О будущем, о жизни на Марсе, о смерти... «Индюк думал и в суп попал», – философски рассуждает Граня с сестрой Фросей, которая приехала в Москву по чужим уголовным делам из своего сельского далека, а сейчас они сидят на кухне за тонкой стенкой и пьют чай с оладьями. Фрося заявляет сестре с вызовом: «Скажу лысому, что он кудрявый, а то он озлился», – а Граня отвечает не то одобрительно, не то пресекая: «Ишь ты». Ничего не понимаю. Опять думаю. Не охота расти и взрослеть. Мне боязно и мучит предчувствие, что я с жизнью не справлюсь...

Мой брат Миша – он старше на девять лет, – кончая школу, решил заняться классической вольной борьбой (это когда можно хватать противника за ноги), а также таинственным видом спорта под названием «самбо» (я долго была уверена, что это – древневосточное слово, а оно, как выяснилось, было всего лишь местной аббревиатурой: самооборона без оружия), – и, приходя с тренировок, отрабатывал основные приемы на мне, а я уворачивалась и визжала. Было весело и сердито!

В нашей школе с четвертого класса изучали немецкий язык («дойч») – честно сказать, вполне безрезультатно. На исходе второго года обучения пятиклассник-переросток Валера Кажаринов на вопрос «немки» (кличка): «Was ist das?» – страшным голосом заорал: «Кислый квас!», за что был изгнан из классной комнаты в коридор, а затем перешел в ремесленное

училище и вовсе канул. «Немка» Ирина Рафаиловна после выкрика Кажаринова резко побледнела и все повторяла одно и то же слово, которое нас дико смешило, смутно интриговало и даже тревожило: «Башибузук... Башибузук...» Мы интуитивно понимали, что оно не немецкое, но чье и что означает? Лишь недавно я неожиданно нашла в словаре четкую этимологическую разгадку, вряд ли известную самой Ирине Рафаиловне: «Башибузук – солдат нерегулярной конницы или пехоты в Турции XVIII века (тюрк., от баш – голова, бузук – испорченный)».

Отец другого одноклассника, Виталика Городецкого (кличка – Город) был настоящий чемпион Москвы по... шашкам. Он был профессиональный шашкист. Когда они переезжали из одного подъезда в другой, – а дом, что напротив школы, был сталинского ампира, метростроевский, – то Город-старший, у которого был очень длинный нос и жестко-курчавые локоны, стоявшие дыбом вверх, – все наличные в хозяйстве шляпы, как женские, так и мужские (а в их многосемейном гардеробе было с избытком), надел последовательно: одна на другую и все вместе – на голову. Увенчанный таким тортом-башней, он гордо и задорно прошел через весь огромный двор, и с тех пор метростроевцы, составлявшие дворовое большинство, признали шашкиста за своего мужика и, вопреки тупому антисемитизму, стали уважать.

Когда Городецкие, много позже, уезжали в Израиль, то их всем двором провожали, распивая по скамейкам «Солнцедар».

Вообще, в метростроевском дворе комсомольские активисты когда вечерами напивались, то вместо «Бригантина подымала паруса» пели «Блевантина подымала паруса».

До восьмого класса нельзя было носить в школу: цветные ленты, заколки и обручи – мы, выйдя со школьного двора, сразу же их доставали из тайного отделения в портфеле и свободолобиво надевали.

Дежурства с красной повязкой на рукаве. Бессмысленный сбор макулатуры и металлолома. Перехват учителями записок и вызов родителей.

Мою маму, уже классе в 7-м, по телефону предупредили, что у меня – нездоровое сочувствие Анне Карениной, всплывшее в процессе урока по внеклассному чтению. Предупредила словесница по кличке Люлек, которая с «шестимесечной завивкой» ходила опять же в черном в серую полоску сарафане (мода à 1а Крупская). В ткань в районе диафрагмы постоянно была воткнута крупная иголка с

длинной белой ниткой (забывала вынуть), каковое обстоятельство любой пафос Люлька донельзя снижало.

В буфете на переменах – спитой чай, котлеты за семь копеек и пирожки с повидлом (куда девалось и само повидло, и ласковое слово, его означавшее?).

Вторая запомнившаяся любовь – Жора Крутлов: я в 6-м классе, он – в 9-м. Высокий, мужественный, прекрасный, в воензированной, мышиноного цвета, тужурке. На меня «ноль внимания, фунт презрения», как говаривала бабушка.

Во время большой перемены я – как якобы дежурная – придумываю дело на третьем этаже, чтобы с ним столкнуться возле кабинета зоологии, где у входа – чучело стоящего на задних лапах медведя со спортивной медалью «Крылья Советов» на бечевке, перекинутой через загравок, и равнодушно пройти мимо. Неожиданно краснею до пожара щек! Он добрый и деликатный, он все видит, он отворачивается к окну. За окном орут грачи и вороны. Ранняя весна 1961 года.

В космос полетел Гагарин. Инвалидный рынок окончательно снесли. Мика с Сергеем переехали в отдельную квартиру. Миша поступил в МАИ, съездил на целину, женился. Чуть позже умерла бабушка. У меня родились племянники. По квартирам долго ходил убийца Мосгаз (потом его нашли и выяснилось, что он конкретный человек Ионесян и вроде бы даже учился вместе с нашим покойным Юрой). Я впервые прочла «Темные аллеи», «Сестру мою жизнь», вдруг непоправимо повзрослела и перешла в ШРМ – школу так называемой рабочей молодежи, что в Марьиной роще. Детство и отрочество закончились – началась юность и «другая жизнь».

...Теперь мне пятьдесят – неизбывная ностальгия по мыльным пузырям.

*Март 2000.*

\* \* \*

Я – в венке из еловых иголок  
Не без шишек – стою не у дел...  
Как не любящий птиц орнитолог,  
Ты зачем на меня поглядел?

Да. Клеймила свободу как иго,  
И любила ее благодать,  
И рвалась вообще как калика –  
То бродяжничать, то оседать.

Это трудно – вернуться, отпрянув:  
Занавески как ветер с полей!  
...Если пить из граненых стаканов, –  
Почему-то печаль веселей.

Повернемся спиною к монархам –  
В одиночку распутаем нить...  
Наше время закончилось крахом –  
При возможности повременить.

(О, сугубая прелесть отсрочек!  
В пересменок ушел конвоир,  
И бомжи, разведя костерочек,  
На помойке устроили пир.)

Ты мне даришь букет иван-чая.  
Все как прежде: «хула – похвала».  
И – посмотрим на мир, не сердчая,  
Ибо поздно

громить  
зеркала.

А мой грандиозный город  
стал придурковат не в меру.

Храмы – помойки – рынки –  
и – «Чей это чемодан?»

Беременная цыганка  
гадает в метро офицеру:

Малюсенький, и весёлый,  
и, видите, вдребадан.

Она именует болезни –  
«испугами медицины».

– Ты, – врет, – высоко летаешь, –  
но низко сегодня сел... –

А он желает взаимности  
от некоей злой Марины,

И машет, как флагом, сотенкой,  
и, знаете, окосел

Вконец! И ему не хочется  
ехать на Маяковку.

Лучше на лавке выспаться,  
и – дальше во весь опор.

...Я дам ему для Марины  
заколку – тире – подковку

И ладонь протяну цыганке.  
– У, – скажет, – какой бугор! –

Язычество ль это, ересь,  
а может быть, вещей лепет,

За коим таится знание,  
как выжить наоборот,

Когда «этот город вязевый»  
то тебе оплеуху влепит,

То страстно обლობызает,  
то мутной воды нальёт...

\* \* \*

Я говорю волкам:  
Тубо! Сочтемся славой.  
Вы – клан, а я – вулкан.  
И я залью вас лавой

До страшных волдырей!  
До судорог во чреве! –  
Но слышу: «Ты ж добрей,  
Чем кажешься во гневе.

Вот и сойди к волкам  
(Тем более к волчатам) –  
Как снег, как великан  
В смиренности непочатом».



Улечу от тебя, безокого,  
Опираясь на палки лыжные...  
«Мне не ты законом, а Богово  
Поручение внятнoслышное!»

Убегаю, как стрелка ходиков  
(Часовая? Но нет, минутная.)  
Ибо страсть – это вид наркотиков,  
Я ж плохая, но не беспутная.

Уезжаю ночной телегою  
Мимо Митина, мимо Свиблова –  
И лечу, и парю, и бегаю,  
Потому что – «свобода выбора».

(Мимо Тушина, мимо Сокола  
С фонарями, как жизнь, разбитыми...)  
Я люблю, чтобы лошадь цокала  
Неподкованным копытами!

Но, приблизив лицо безбрежное,  
Отвергая разлуку шкурою:  
«Ну, зачем ты опять за прежнее,  
Злая девочка – дура дурую?» –

Скажет он, ослепленный сполохом  
Этой нежности, этой ярости...  
Дура дурую, олух олухом,  
Убегающие от старости.

\* \* \*

Даже если морочит, и плачет,  
И пророчит небывшую новь, –  
Это прелесть и это не значит,  
Что тебя осенила любовь.

Даже если приснится под утро,  
Даже если ворвется в строфу,  
Даже если сметет как полундра, –  
Это всё не свершенье, а тьфу!

Ибо, если в лице человека  
Померещился Божий призыв, –  
Надо вскрикнуть и выслушать эхо,  
По возможности рот закусив.

Я аскезой себя изувечу,  
Замурую и выход, и вход  
И не сделаю шагу навстречу, –  
Если эхо в ответ не поёт.



\* \* \*

Не боялась огня и копья,  
Не страшилась воды и недуга...  
Пуще всех опасалась себя:  
Глубины, закипающей глухо,

И толкающей в нищее зло,  
В подозрение, спесь и безволие,  
И ломающей напрочь весло  
По дороге в открытое море, –

Где я мяла себя и несла  
В одинокий свинец поднебесья.  
... Что мне, недруги, ваша стрела,  
Если самоубийственна песня?

\* \* \*

Ты страстями жила и дурью,  
Ты носила себя навыворот...  
Говорили тебе: мол, вы бы вот  
Поутихли, чем сеять бурю.

Утихала. Но сам цунами  
Разбивал твои окна с рёвом!  
...Не ходила к вратам царёвым –  
Колобродила с пацанами.

Сколь печально твоё кипение,  
Солнце северное копейное:  
Каждый луч заострён настолько,  
Что дробятся сердца и стёкла!

...Ты, бродя деревянным Пудожем  
И ловя ледяной транзит,  
Всякий раз обмирала: будущим,  
И любовью, и смертью разит.



## Из «Шведской тетради»

### 1. Готланд

Дикие розы прильнули к стене в слезах, –  
Кажется, что молящие «Смилуйся и приди», –  
Алые, мелкие, гордые, острова посреди,  
В порту, торгующем рыбой (кто их тут посадил?),  
А кирха на реставрации: в стальных «лесах»!

Вотчина лютеранская, втиснутая в мундир,  
Военная атрибутика – крейсер... аэроплан...  
Впрочем, и гуси-лебеди (лебедь по-шведски *svan*:  
Прелесть иноречения как ветер чужих полян),  
И колокол в полном здравии: вот, разбудил –

Рано, в казенной келье, до петухов (петух –  
Надо же, *tipp* по-здешнему): на́ море, и скорей!  
...Я всегда, путешествуя, прочь рвалась, с якорей  
(Господи, просквози меня, заморозь и согрей),  
С насеста, который – родина, и крест, и одно из двух.

### 2. \* \* \*

Сколько загадок в чужом языке живет!  
Знай поспевай за спиралью его излишка.  
Ежик по-шведски, представь себе, *igelkott*,  
То есть пиявка, которая разом шишка.

Жизнь любопытна вся, несмотря на чин:  
Храм – пивоварня – госпиталь – флаг овечий...  
А музейный работник с ключом от руин  
Песню сплет про Олафа (ихний вещий

Вроде Олега)... Чайки орут в порту  
И норовят проехаться на пароме.  
Благодарю тебя за позднюю лепоту:  
Быть пилигримшей в родственном окоеме.

3. \* \* \*

Это поздняя осень, но зелены сочные ветки.  
А веселый шиповник развесил приманку для птиц.  
Лютеранская церковь. Орган. Песнопенье по-шведски.  
И кощунственный помысел: «Вера не знает границ».

Я молитвенной плетью унынье из сердца повыбью,  
А соседка покрепче – с утра предпочтет закосеть...  
Интернат для писателей в маленьком городе Висбю,  
Где военные смотры и рыболовецкая сеть.

Вот и кончила опус о связи лубка и модерна,  
По родимой привычке воинственно пересолив...  
Завяжите шнурки на ботинках, красавица Эрна,  
И балтийские камни пошли собирать на залив.

Ни словесность, ни водка уже не спасут наши души:  
Надо санки и лыжи вострить на иной ветроград.  
*Старость – это вечерняя юность* (цитата из Ксюши).  
...О, какой несказанный, родительский, мощный закат!

4. \* \* \*

Полдень – кирха – в субботу органист исполняет Баха...  
Некто – явно чокнутый, наголо бритый, с бородкой,  
Башмаки в пыли, рюкзак, на руках собака –  
На скамейке сидит, улетающая с улыбкой кроткой.

Пес не менее странный – он внимает Баху и лижет  
Руку милую в цыпках: мы с хозяином, дескать, вместе!  
...Я не знаю, о чем они думают, что они слышат, –  
Только встреча с обоими – подобие важной вести.



5. \* \* \*

Мельница, хвоя, вереск, ветер в лицо до слез...

Крест из лесных дощечек: «Спи под звездами, пес».

Окаменелости моря: *ракур* – вопль немой...

И в небесах над зыбью (Господи!) путь домой.

1998

\* \* \*

Я воротилась. Дрогнул маховик.  
Как вещуны, запели шестеренки.  
Грибницу распирает – моховик  
Набычился. Да здравствуют силенки!

Не силы, нет, тем более – не мощь,  
А именно силенки по старинке...  
Я счастлива как падчерица рош  
С трофеями в полуденной корзинке.

Еще ура глубокому, как вздох,  
Желанию одаривать и нежить!  
Орехи, шишки, папоротник, мох –  
Все голосует против слова «нежить».

Се человек. Влюбляется, и врет,  
И делает запасы из варенья.  
...Вниз головой – и задом наперед –  
И руки-крюки – и... Венец творенья!

*Ю.Ковалю*

Ногою в клетчатой штанине  
Покачивая на весу,  
Ты – мой поэт, на окарине  
Сыгравший оттепель в лесу, –

И белок хвойные горелки,  
И солнца изумленный шар,  
И, вечно не в своей тарелке,  
Влюбленной памяти пожар, –

И необученных овчарок,  
И яблочного снегиря,  
И преимущество помарок  
Над прописями букваря, –

Ты, не любитель плоских формул,  
Мерцающего цвета шнур  
Сквозь оторопь свою продернул,  
Не проронив ни «цыц», ни «чур», –

А он, как видишь, был бикфордов  
И уничтожил вещей знак –  
Тебя, не знавшего рекордов,  
Но певчего за просто так.

Сколько можно канючить  
и жить на проценты от боли?  
Я сама на себя  
выливаю ушат новизны.  
Мне сейчас хорошо, как бывало  
прогульщицей в школе:  
На газоне лежать, и курить,  
и рассказывать сны,  
И делиться с друзьями  
излишками бреда и срама,  
И насвистывать джаз,  
и приманивать будущий крах,  
И глядеть в небеса,  
и – когда раздвигается рама...  
...Мне опять хорошо,  
как на ранних (ау...) поездах!

Если где лотерея,  
то я покупаю билеты.  
Если «Овощи-фрукты»,  
то мне по карману хурма.  
А внизу, в переходе,  
любитель рисует портреты,  
Где утрирует прелесть, и льстит,  
и почти задарма.

У меня сарафан,  
у меня босоножки без пятюк  
И могучая странность –  
выпаривать счастье из бед.  
...Да. Была горемыкой.  
Но если рассмотрим остаток –  
Он блажной, драгоценный  
и даже прозрачный на свет.



\* \* \*

О, год проклятый – навет, и змеиный след,  
И окрик барский, и жатва чужого хлеба...  
И даже кошка, роднее которой нет,  
Под Новый Год ушла без меня на небо.

Сквозь крест оконный – портовых огней игра:  
Моя пушистая азбуку неба учит...  
– Скажи: куда мне? Скажи, что уже пора. –  
...Молчит, и плачет, и, всхлипывая, мяучит.

\* \* \*

О.К

Что касается Кельна, – его разбомбили дотла  
Исключая Собор, потому что служил ориентиром...  
Городское пространство осталось в чем мать родила  
С виноватою каверзой плакать вослед бомбардирам.

Это позже сквозняк запоем меж лесов и стропил,  
Подбивая природу калькировать что потеряла.  
И подумал Господь – и тяжелой печатью скрепил  
Накладные бумаги по поводу стройматерьяла.

...Накануне Крещения выпал такой снегопад,  
Что похоже на бедствие. Впрочем, светло и привольно...  
Начинается эра (какая?) – и птицы не спят,  
А поют в витражах. Вот и все, что касается Кельна.

*Январь 2001*

\* \* \*

Это Альтона. Эльба. Сидим в «поплавке»,  
Отражаясь в мерцающей влаге:  
Каравеллы, буксиры и пестрые флотские флаги...  
– Погадай по руке! –

«Раздвоенье житейской дороги на путь  
И тропинку зигзагом... Огромная шишка Венеры.  
И успех – не из мрамора, а из легчайшей фанеры...»  
– Ты меня не забудь, –

Пианист из Сибири в шарфе demodé  
И в фуражке – старинной, веселой, нелепой!  
...Дунаевский, и Вагнер, и зимнее небо над Эльбой...  
Солнце: демон в воде?



\* \* \*

Еще со времен окропленной чернилами парты  
Судьба не писала полотен, а – мелочь, рисунки...  
Я слезы и вой усмиряла, как жители Спарты,  
Ходившие на людях и в иступленьи по струнке.

Зачем же сегодня – с седою, как лунь, головою  
(Навыворот шиворот, чья потрясает изнанка) –  
Я плачу, как девочка, и с наслаждением вою,  
Свободная, старая и вообще не спартанка?

Затем что безумье уродливо, но соприродно  
Небесному шифру, – а мне он дается впервые...  
Собой не владею? Зато развернула полотна –  
Цветастые, мокрые и, как Творенье, кривые.

\* \* \*

С гонором послевоенной закалки  
Кормит ворону старик инвалид.  
А на припеке лесные фиалки  
Вдруг расцвели меж строительных плит.

Горе заквасит глотком горлодера,  
Сам себе закусь, и храм, и стезя...  
– Не городи по возможности вздора:  
Дескать, любить это место нельзя. –

Можно! (Как дырку латает иголка).  
Можно – за родину вставши горой.  
...И потихоньку спуститься с пригорка,  
И рассчитывать на первый-второй

(Вечно вторая, зады повторяя,  
Хитросплетая, свирепствую, вру), –  
И замолчать в километре от рая,  
И, как фиалка, синеть на ветру

(Слава Всевышнему, что не слукавил:  
Пустошь просторнее, чем западня), –  
И доживать за пределами правил,  
Тут, – где моя вымирает родня.

\* \* \*

Веки опускаются: – Спать, спать, спать...

Бесы изгиляются: – Пить, пить, пить...

Ноги не смиряются: – В путь, в путь, в путь!

Звезды воцаряются: – Петь, петь, петь.

*Е. Орловой*

Вы меня похороните с поздняязыческой песней.  
Но куда еще мне достанется сотня плетей...  
Феодосий Черниговский – лекарь от нервных болезней –  
С неизбывной загадкой (икона) глядит на людей.

А на улице – месиво: оттепель вместе с метелью.  
Завсегдатаи воздуха подняли птичий галдеж...  
– Ты сегодня трясешь погремушкой над колыбелью,  
А назавтра румянишь и в ящик щелястый кладешь. –

Суеверие – грех, но я дома повешу подковку.  
А еще остается покорная выдумке речь, –  
Где слова, точно яблоки, можно засунуть в духовку  
И до нежного панциря (стало быть – насмерть) испечь.

У меня за спиной – ошибка такого объема,  
Что ее не опишет ни проза, ни даже стихи...  
«Мы поедem в Сухуми, – сказал мне юродивый Рома, –  
И в пещере (...невнятица...) ваши замолим грехи».

Фотография выцвела: девочка в ботах и с муфтой  
На грядущие ужасы круглый разинула рот.  
...С головою накроюсь лоскутной и дырчатой смутой,  
А юродивый Рома плацкарту, ликуя, проплет!

## Почти басня

Что любопытнее вскипающей воды?  
И своевольничать, и булькать, и скрываться,  
И щеки дуть, и петь на все лады,  
И вредничать: мол, «хрен тебе с румянца

Мово», – и, злыми пузырями изойдя,  
Выстраивать в пару воздушный замок,  
И *убегать* (кофейник ли, бадья, –  
Прощай, посуда) – вон и прочь из рамок

Хозяйства. Лишь бы огонь! Бурление! Ожог!  
...Однако – стоп. Горячей, но смиренной  
Водой, не кипятясь, заварит Бог  
*Любой* (мораль) напиток во Вселенной.

Что обреченнее вскипающей воды?  
И мы, мой друг, и мы пополнили ряды...

\* \* \*

Океана посередине,  
Хочешь гибели – озоруй!  
Уплыву от тебя на льдине  
В направлении теплых струй.

Скучковавшиеся – спасутся,  
Зазимуют, растопят печь...  
Но во все времена безумца  
Распирало желанье – б е ч ь!

Твердо смотрят глаза сухие.  
*Отрываюсь* – читай: расту –  
Под рычание злой стихии.  
...Ну, а ты доживай в быту.

# Автопортрет на фоне яви

## Послесловие

Вопрос о том, должна ли (и насколько способна) лирическая поэзия отражать современную ей реальность, – никогда специально меня не тревожил. Я писала как пишется, как придется, как бог на душу положит – как диктовалось сверху и как накатывало волнами извне. «Вдохновение» (точнее сказать: лихоманка) являлось ко мне в форме боли, восторга или иного какого озноба, от переизбытка коих я просто не могла, не умела избавляться другим путем.

Стихосложение было и остается для меня доморощенным, знахарским видом самоврачеванья в строчках: я выговаривалась – так больному в старину «пускали кровь» – и лишь таким образом душевно выживала. Я рада, если мои абсолютно частные и необобщенно сбивчивые исповеди, мой всего-навсего дневник отражает чуть больше, нежели персональные проблемы и трансформации отдельного нетипичного индивида.

Да, лирика – не газетный очерк, не репортаж с места событий и не фельетон. Однако она – с ее доминантой вечного в акмеистических дырах и накрапах сиюминутного – она-то, лирика, по моему убеждению, осуществляется именно «здесь и теперь». Некичливое пристрастие к повседневности есть свобода поэтики, живущей меж высью вечного и опорой вещного.

Стихи, по которым грядущий археолог не смог бы установить хронотоп их создания (а время и место отражены как в реальной предметности, так и в мистике ритма: совокупность и есть современная м у з ы к а поэтического слова), – такие стихи всегда представлялись мне спесивыми, искусственными и в конечном счете не вполне живыми. Изящной словесности не обойтись без видимого мира, без вещи, без лопухов и лебеды натурального бытия. «И каждый стих гоня сквозь прозу», современный лирик стремится выразить себя и мир вокруг адекватно, в счастливых случаях – безразлично для собратьев по лирическому волнению.

Итак, кривой автопортрет на фоне кривой яви написан – и если оказывается, что выражает он нечто более универсальное, чем твое частное «я» и твой отдельный хаос, – это и есть награда, это и есть преодоление одиночества и чужести, это и есть твое творческое не зря.

Татьяна Бек

*1 января 1998 года.*

Текст для журнала «Знамя» – по поводу вручения автору журнальной премии 1997 года.



## Содержание

Евгений Рейн. Простота и загадка. О стихах Татьяны Бек. /5

- С крючка сорвавши макинтош... /8*  
*Кто там – Кащей или добрый колдун... /9*  
Конец апреля /10  
    *Чудь чудила и мерила меря... /10*  
    *А в конце апреля мы съездили на кладбище... /10*  
    *Морок кончился, ура... /11*  
*Эй вы, мои други-вороги... /12*  
*Отныне жизнь... /13*  
*Не блаженная, нет! Знай ходила в совет нечестивых... /14*  
*С откоса, где в Волгу впадает Ока... /15*  
*Все мои близкие сходят с ума... /16*  
*Думая о вольности и верности... /17*  
*Солдат, сынок, инвалид... /18*  
*Привыкай – разворачивай – режь... /19*  
*Наволочку откопаю в чулане... /20*  
*Напраслину впитав, а не оспорив... /21*  
*Не унижайся, не падай навзничь... /22*  
*Лишь гуляка есть осчастливлен... /23*  
*Пущу с лотка глаголы мамины... /24*  
*В этой стёганой куртке, похожей на праздничный ватник... /25*  
*В Македонии каменных плит... /27*  
*Кто тебя нежит и кто тебя холит... /28*  
*Добже, как мне бы сказали в Польше... /29*  
*Постарела – и зубы выпали... /30*  
*Это кто валандается-мается... /31*  
*«Родиться в России с умом и талантом»... /32*  
*Много ль смысла оно принесло вам... /33*  
*Сила была могучая. Однако ее не хватило... /34*  
*Прозренья мои – как урки... /35*  
*Ты – моя бывшая радость, моя прошлая страсть и ярость... /36*  
*Этот дом я узнала по скрипам... /37*  
*Даже если печаль глубока... /38*

Сжала губы полубантиком... /39  
Приняв не решение – наркотик... /40  
Все равнодушной, все аморфней... /41  
О, откуда живешь, – как материя, зреешь... /42  
Небеса печальны, темны, волнисты... /43  
Испытуя сердца и утробы... /44  
Я псалмы прополощу в подкорке... /45  
Ненароком оставшись в живых... /46  
Кротость, куда ты, мой добрый гений... /47  
Мы подростки. Мы прыгнули в кузов... /48  
Путаться, гнить и рваться властолюбивым нитям... /49  
Падаю! О, протяни мне руку... /50  
Эта жизнь – исчадьё дури... /51  
То ли сполох беды, то ли радуга... /52  
Как горькая строчка на три стопы... /53  
Истоцилась и скурвилась ода... /54  
Я в детстве, как лесная ель... /55  
Какая родословная без мифа... /56  
Художница пашет с утра в ателье... /57  
Дабы пустошь музыку исторгла... /58  
Когда ты пьешь один, когда с улыбкой мрачной... /59  
Как расколотый орех... /60  
Вы себя гладите, хвалите, холите... /61  
Человеку неба мало... /62  
Что я поведаю вам, соплеменники?... /63  
Depression /64  
– Как жизнь прикажешь, если трус на трусе... /65  
О, девочка моя неродная... /66  
Попрощалась печально и звонко... /67  
Лестницей вверх ли с поющею лирою... /68  
Вам в привет. Начала /70  
Я – в венке из еловых иголок... /81  
А мой грандиозный город стал придурковат не в меру... /82  
Я говорю волкам... /83  
Улечу от тебя, безокого... /84  
Даже если морочит, и плачет... /85  
Снежную скатерть не вышьет иголка... /86  
Не боялась огня и копья... /87  
Ты страстями жила и дурью... /88  
Любой из нас человек – дыра, сирота, изгой... /89  
Из «Шведской тетради» /90  
Готланд /90

- Сколько загадок в чужом языке живет... /90*  
*Это поздняя осень, но зелены сочные ветки... /91*  
*Полдень – кирха – в субботу органист исполняет Баха... /91*  
*Мельница, хвоя, вереск, ветер в лицо до слез... /92*  
*Я воротилась. Дрогнул маховик... /93*  
*Ногою в клетчатой штанине... /94*  
*Сколько можно канючить и жить на проценты от боли... /95*  
*Басня для друга-собачника /96*  
*О, год проклятый – навет, и змеиный след... /97*  
*Что касается Кельна, – его разбомбили дотла... /98*  
*Это Альтона. Эльба. Сидим в «поплавке»... /99*  
*Еще со времен окропленной чернилами парты... /100*  
*С гонором послевоенной закалки... /101*  
*Веки опускаются: – Спать, спать, спать... /102*  
*Вы меня похороните с поздняязыческой песней... /103*  
*Почти басня /104*  
*Океана посередине... /105*
- Татьяна Бек. Автопортрет на фоне яви. Послесловие. /106

**Татьяна Бек**

**УЗОР ИЗ ТРЕЩИН**

*Стихи недавних лет*

Компьютерная верстка Л. Бек

Изд. лицензия ИД № 01007 от 18 февраля 2000 г.  
Подписано в печать 10.03.02. Формат 60 × 90/16.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,0.  
Уч.-изд. л. 6,8. Тираж 1000 экз. Зак. № 5776

Издательство «ИК «Аналитика»  
103012, Москва, ул. Варварка, 6

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Я 25 лет читаю Татьяну Бек и очень редко писал о ее стихах или говорил о них самой поэтессе. Достоинство и стиха, и человека в них было всегда, но в последние годы они приобрели силу голоса и звучания. Поразительна насыщенность этой поэзии. Она именно о том, что необходимо услышать, о чем другие забыли или не решились сказать.

*Игорь Шайтанов*

Ее автогероиня проделала черную добровольную работу по перемещению из теплицы (розария) в пыльную-грязищу колдобин, кюветов и канав, составляющих “наше священное ремесло” (Ахматова). Последние годы, из сопротивления подземной тяге и постоянной возможности ухнуťся в ухаб, Татьяна Бек говорит только на самой высокой ноте, подтверждая заданный максимализм существования в стихе.

*Илья Фаликов*

Терзанье пленного духа – главный нерв поэзии Татьяны Бек, ее невидимые миру слезы, ее фатальная тема... Иногда кажется, что тут спорит дух с материей: дух куда-то рвется – материя не пускает. Отсюда – чуть заметная “дрожь” интонации за железными стиховыми ритмами. И беспричинные слезы, сменяющиеся неожиданным смехом. И абсурд, уложенный в логику.

*Лев Аннинский*

В ее стихах мы видим не только признания в любви многим людям, но и самих этих людей, разъединенных эмиграцией, временем, историей, наконец смертью. Возникает портрет поколения, может быть, никем кроме Татьяны Бек еще не написанный... Именно в ее стихах мы находим настоящую духовность, в смысле – любовь к Богу, не представимую без любви к человеку.

*Екатерина Орлова*

ISBN 5-93855-012-2



9 785938 550124